

ЛЕНДА

О Галиче

КАК И МНОГИЕ, я не раз слышал записи его песен, поразительных, с такой точностью передающих дух и настроение тех лет. Голос Галича казался мне прорывом из глухого молчания. Но молчания многозначительного. Я верил, что под ледяной коркой зимы все еще текут живые струи. Уж если сталинщина не могла полностью иссушить эту реку, то тем более — потом... Галич говорил и пел о том, о чём шептались, что многие уже хорошо знали. Он блестяще владел городским полуинтеллигентским и полублатным жаргоном, воплощаясь то в героев, то в антигероев нашего времени. Мне он казался своего рода мифом, собирательным образом, каким казался в начале 60-х Окуджава, хотя мне было известно, что это вполне реальные люди. Окуджава пел о простом, человеческом, душевном после долгого господства казенных фраз. Галич изобразил в лицах, в целой галерее лиц, портрет нашей трагической эпохи. Поэтому мне показалось странным, почти невероятным, что я мог увидеть его, словно это был оживший символ, который трудно себе представить в виде одного конкретного человека...

Я увидел его сразу, когда он, такой заметный, высокий, появился на пороге церкви. Он пришел с нашим общим знакомым, композитором Николаем Каретниковым. Я узнал его сразу, хотя фотографий не видел. Узнал не без удивления. Знаете, читатель часто отождествляет писателя с его героями. Так вот, для меня А. А. жил в его персонажах, покаленных, униженных, протестующих, с их залихватской бравадой и болью. А передо мной был человек почти величественный, красивый, барственный. Оказалось, что записи искажали его густой баритон. Мне он сразу показался близким, напомнил мою родню — высоченных дядек, которые шутили кололи грецкие орехи ладонью. Это был артист, в высоком смысле этого слова. Потом я убедился, что его песни неотделимы от блестящей игры. Как жаль, что осталось мало кинокадров... Текст, магнитозаписи не могут всего передать. И в первом же разговоре я ощутил, что его «изгойство» стало для поэта не маской, не позой, а огромной школой души. Быть может, без этого мы не имели бы Галича — такого, каким он был.

Мы говорили о вере, о смысле жизни, о современной ситуации, о будущем. Меня поражали его меткие иронические суждения, то, как глубоко он понимал многие вещи... Его вера не была жестом отчаяния, попыткой куда-то спрятаться, к чему-то примкнуть, лишь бы найти тихую пристань. Он много думал. Думал серьезно. Многое пережил. Христианство влекло его. Но была какая-то внутренняя преграда. Его мучил вопрос: не является ли оно для него недоступным, чужим? Однако в какой-то момент преграда исчезла. Он говорил мне, что это произошло, когда он прочел мою книгу о библейских пророках. Она связала в его сознании нечто разделенное. Я был очень рад и думал, что уже одно это оправдывает существование книги.

После совершения таинства мы сидели у меня, и он читал нам с Н. К. свои стихи. И как-то по-особенному прозвучал его «Псалом» о том, как человек искал «доброе Бога». Нет, вера его была не слепой, не способной убежать от жизни. Она была мудрой и смелой. В нем жило чувство истории, причастности к ней, историческая перспектива, которая связывалась для него с христианством. Об этом, о сокровенном Галич пел и писал мало. Это было прекрасное целомудрие души. Есть вещи, которые нельзя выставлять напоказ. Но в своем пронзительном стихотворении «Когда я вернусь» он не случайно называл наш маленький храм, «где с куполом синим не властно соперничать небо», своим «единственным домом».

...Было тяжкое, мучительное расставание. Он приехал ко мне домой с гитарой. Пел для собравшихся друзей. Голые ветки за окном и пустое пространство напоминали о бесприютности. Мы смеялись и плакали. Никто не мог обвинять в противоречии человека, написавшего «Песнь исхода». Было видно, что его довели до точки. Больше он не мог выдержать. Есть моменты, когда суждено дрогнуть и сильному. При прощании у него он хотел подарить мне на память — как символ — дощечку, с которой легко стираются написанные слова. Горький сувенир времен молчания. Но я отказался взять. «Придет время, еще будем говорить вслух», — сказал ему я. Рассчитывать, правда, было не на что. Но я верил и надеялся. Уже «оттуда» он написал мне в коротенькой записке, что никогда там не привыкнет. Это и неудивительно. Он был плоть от плоти нашей жизни, Москвы, нашего непростого времени, полного глубокого и вечного смысла.